

Давний, еще по старому двору, приятель со смешным прозвищем Фортель называл Машу «человеком из бархатной коробочки» и говорил, что она понятия не имеет о «настоящей жизни». Фортель в четыре года сам научился читать, к своим двадцати пяти отслужил в армии, надорвался на северной стройке, развелся с женой и вылетел из университета. Из-за одного только черчения вылетел — чертить ему было скучно. На жизнь зарабатывал на заводе — то ли слесарем, то ли наладчиком. Зато всех обыгрывал в преферанс и по ночам же работал над единым уравнением вещества и поля. Если бы вывел уравнение, получил бы Нобелевку.

Насчет Маши Фортель был прав: ей никогда не приходилось работать в колхозе, укладывать шпалы, стаскивать сапоги с пьяного мужа или, скажем, сидеть в тюрьме. О настоящей жизни она читала только в книжках. Может, поэтому она так сразу подружилась с Никой? Ника знала настоящую жизнь, настоящую и страшную, как в книжках.

В тот день Маша зашла по-соседски к Фортелю. Втащила коляску по ступенькам на высокий первый этаж, еще какая-то старуха проворчала: «Сама дите — и уже с дитем!» Коляску Фортель выкатил на балкон: пусть ребенок воздухом дышит, — и поставил вариться кофе. Зазвонил телефон.

— Да-да, заходи, — сказал Фортель, положил трубку и посмотрел на Машу значительно. — Придет Ника, ты ее не знаешь. С нею вот такая была история, — он встал и заглянул в джезву: не заворачивается ли пенка. — Да, с нею вот как

дело было. Года три, что ли, тому назад Ника выходила на бульвар, ловила мальчиков на свою потрясающую внешность и приводила в квартиру. Там, — Фортель достал сигарету, приподнял джезву, прикурнул от газового пламени, еле видимого на ярком свете, и сказал, выдыхая дым: — Там их насильовали рецидивисты. Один мальчик выбросился из окна. Пятый этаж, насмерть. Тюрьма, следствие, суд, насильникам дали срок. Нику отпустили как малолетку. Ей тогда не было восемнадцати.

Никакой потрясающей внешности у Ники не оказалось: круглое лицо, крепкое тело, длинные руки и ноги. Одежда на ней сидела странно, как-то неловко: слишком тесная юбка, блузка натягивала пуговицы, топорщилась на груди и явно жала в подмышках.

Поначалу Маша отнеслась к Нике настороженно, но вскоре это прошло, осталось только странная трудно осознаваемая смесь дразнящего интереса и чего-то еще — боязливого и слегка завистливого уважения, что ли.

Им было хорошо пить кофе на кухне. Болтали о чепухе. Фортель доказывал, что Дездемона была неверной женой — у Шекспира, мол, нет ни одного указания на ее невиновность. Маша защищала Дездемону, Ника курила и молчала. Потом они вдруг развеселились, смеялись так, что опрокинули джезву. Собирали кофейную гущу с линолеума, возили тряпки слабыми от смеха руками. Фортель по-взрослому улыбался, глядя на них.

На балконе запищал Костик, было пора уходить. Ника помогла спуститься с высокого первого этажа: подняла коляску с ребенком, будто та ничего не весила, и снесла по ступенькам. Проводила Машу до дома, зашла попить чаю. Как случается после долгого смеха, было грустно. Маша включила проигрыватель, опустила иглу сразу на третью дорожку. После первых тактов Ника спросила шепотом:

— Что это?

— Шопен, вальс ля-минор. Мой любимый сейчас.

— Знаешь, я никогда... — сказала Ника и отвернулась к окну.

Маша взяла Костика и вышла на кухню, чтоб не мешать. Зажгла газ, привычно держа ребенка на бедре, поставила чайник. Костик вертелся, вырывался, хотел на пол, но в кухне его никогда не спускали с рук. Сосед, закодированный алкоголик и очень нервный человек, держал здесь большую кошку. Ее часто рвало, сосед убирать не хотел, так что Маша каждый день мыла полы и переодевала тапки на пороге своей комнаты.

Из кухни она вернулась, когда закончилась пластинка. Ника сразу вышла покурить и курила так долго, что заваренный чай перестоял и сделался горьким. Назавтра она пришла снова и стала приходить чуть не каждый день.

Маша тогда сидела в академическом отпуске с ребенком. Муж Яша мотался по командировкам, приезжал на неделю в месяц, скучал по дому и жалел Машу, что Костик ей не дает спать по ночам. А Маша жалела мужа, что пропускает Костикины первые месяцы жизни. Она могла подолгу сидеть и смотреть, как Костик спит, хмурится во сне, морщит нос, собираясь чихнуть. Ее дом — точнее, комната в полуподвале — была для нее той самой бархатной коробочкой, о которой говорил Фортель. Или как озеро в лесу: над головой ветер шумит в высоких деревьях, а здесь безветренно и тихо. И время не бежит, а медленно сворачивается в прозрачные водовороты.

Стиральной машины у них не было. Настирает Маша в тазу ползунков-подгузников, вынесет во двор, развесит — стоит и смотрит. Белье на веревке было вещественным, земным, основательным. Провисшая веревка и красные руки свидетельствовали: нет, это не игра, все происходит на самом деле.

Маше не было скучно одной с ребенком, но она была рада Нике. Бывали дни, когда их все смешило, а бывали другие, тихие дни. Они ходили с коляской гулять, заглядывали на рынок. Там Маша впервые увидела, как Ника действует на мужчин.

Вот она идет расслабленной походкой, лицо серьезное, будто сонное. Заговаривает с продавцами — вроде грубо, но они улыбаются, выскакивают из-за прилавков, говорят ей «ты» — и как под гипнозом соглашаются на ее цену. Будто она входит с ними в сговор, обещает себя, и они за одно только это обещание, без надежды на исполнение, готовы и рады платить. На женщин ее гипноз не действовал.

Вот небритый дядька сыплет вишни в кулек из алюминиевой площадки весов. Ника стоит слишком близко, держит кулек, смотрит дядьке в глаза. Ягоды падают на пол, катятся, на них наступают, брызжет ягодная кровь. Запачканным вишневым соком пальцы гладят Никино запястье, и она не отнимает руки.

Маше с любопытством присматривалась и даже попробовала ходить, как Ника, но ни на кого это не действовало, только муж однажды спросил озабоченно, не ушибла ли она копчик.

Однажды в парке Ника затеяла перепалку с каким-то длинноволосым типом, и Маша вмешалась, вполне удачно сострила. Тот бросил, едва глянув на неё:

— Отойди, девочка, ты не по этому делу, — и повернулся к Нике.

Маша сперва думала, что ослышалась: так неприлично откровенны были его слова. Больше она в чужую игру не мешалась, только смотрела и пыталась понять, какие тут правила. Они с Никой были ровесницы, но Ника была настоящая женщина, а Маша так, девочка с ребенком.

Вечерами Маша читала вслух, сидя на спинке тахты, поближе к лампе торшера. Сама она тогда читала Пруста, а для Ники выбирала Булгакова или Маркеса — яркие, сильные книги, они как Шопен и Григ для тех, кто еще не привык к классической музыке. Маше нравилась роль просветителя, она только боялась,

как бы в ее желании поделиться любимыми вещами Ника не почувдилось высокомерие.

Ника замороженно слушала. Смотрела снизу вверх, следила пристально, даже слишком, как Машины губы выговаривают слова, и что-то неправильное было в этом взгляде. Будто она смотрит на чудо или икону. Будто Маша сама сочинила все эти книги и даже музыку. Маша чувствовала: что-то не так, нельзя так смотреть на человека, — но соблазн был велик, трудно устоять. Поначалу этот взгляд мущал, потом стал привычен, даже нужен.

О себе Ника говорила мало. Рассказывала житейские истории: как мама съпанула в ванну хлорку, наклонилась, вдохнула и теперь кашляет — обожжены бронхи. Или об отчине, как схватило сердце прямо у станка: в полседьмого ушел на завод, а в полдевятого позвонили, что умер. После похорон отчим приснился Нике, вылез из гроба, встал на колени и умолял простить, что оставил их с матерью одних. Он, мол, не нарочно, это от него не зависело.

Истории Ники были и живыми, и по-настоящему драматичными. Маше было жаль ее, как бывает жаль героев книг, где несчастья сгущены и сконцентрированы.

Иногда Ника пропадала недели на две, и тогда Маша скучала по ней. Вернувшись, Ника всегда просила поставить вальс ля минор. Слушала, отвернувшись к окну, потом выходила курить.

Приезжал из командировки муж, и Ника тактично исчезала. Маша не рассказывала ему о страшном прошлом Ники — не то чтобы боялась осуждения, а просто это была чужая тайна. И еще ей нравилось, что она знает, а Яша нет — в знании есть невещественное, но ощутимое преимущество.

Маше никогда не приходило в голову обсуждать с Никой ее прошлое — об этом никогда не говорили. И все же было непонятно, как могло такое случиться с человеком? Однажды, еще в детском саду, Маша черпала совком воду из лужи и лила в муравейник. Муравьи бегали, спасали детишек. И знала, что делает скверное дело, но не переставала. Почему? Из любопытства? Непонятно. Может, и Ника не понимала, почему?

Вспоминает ли она о том, страшном? Может, она давно простила себя и накрепко все забыла? Как в английском романе: комнату или целый этаж, где случилось преступление, заперли на ключ и туда не ходят. Семья живет как обычно, может, даже веселей, чем если бы не было той запертой комнаты или целого этажа.

Если бы Ника была героиней романа, ну, скажем, Льва Толстого, он бы ее подробно описал, подметил характерные жесты, связал их с душевными движениями, рассказал, что за ними стоит, как она думает и чувствует. И тогда бы Маша все о ней поняла. Но с Никой — живой, настоящей Никой — так не получалось. Наверное, можно придумать какое-то объяснение, а как узнаешь, правильно ли оно? Вообще не бывает правильных объяснений, никого нельзя достоверно понять.



Крыжановская Е.
2020

Ника была загадкой и вела себя загадочно: никогда не расскажет, куда и зачем уезжает на неделю или на две, что там делает. Маша не понимала: для чего она проводит целые дни с нею и Костиком? Неужели у нее нет компании поинтересней? Только ночевать не остается: как бы ни было поздно, ловит такси и едет домой.

Как-то раз они пошли в парную. Ника бывала там почти каждую неделю, и Маше захотелось попробовать. Муж как раз был дома, когда Ника за нею зашла. Маша была уверена, Яша и Ника понравятся друг другу: оба большие и сильные, оба опекают ее, как маленькую. Но Ника смотрела в сторону, хмурилась. Может, боялась привлечь его, как тех мужчин на рынке? Маша этого не боялась — знала, что муж однолюб.

По дороге в баню Маша пыталась ее рассмешить: показывала, как Яша выкручивал ветхий пододеяльник, да так и остался с двумя половинками в руках. Стоит, лицо растерянное, смотрит то на левую руку, то на правую, вот умора! Но Ника только больше хмурилась, и Маша вдруг догадалась: та вовсе не боялась привлечь ее мужа, она боялась и сейчас боится за нее, за Машу. Может, у нее был неприятный опыт с большими сильными мужчинами?

В троллейбусе какой-то мужчина обратился к Маше на незнакомом языке, а потом по-русски сказал, что стыдно армянской девушке забывать родной язык. Постепенно распалился, покраснел, стал кричать. Маша пыталась объяснить, что она вовсе не армянка, но сердитый мужчина ее не слышал. И тогда вмешалась Ника. Она встала и пошла на мужчину грудью — он затих. Ника наклонилась к его уху и что-то сказала, тот попятился к двери и вышел на следующей остановке. Маша так и не узнала, что сказала Ника в волосатое большое ухо.

В бане Ника надела им обоим шерстяные шапочки и строго дозировала время в парной — Яша сболтнул про Машино больное сердце. После парилки они обливали друг друга водой из шланга — сильная ледяная струя била в живот, Маша визжала от восторга. Тело стало легким, как в невесомости. Было так хорошо, и она подумала, нужно часто сюда приходить. Но первый раз оказался последним — Ника исчезла.

Как-то сложилось, что она всегда звонила сама, у Маши не было ее телефона. Через месяц Маша попросила Фортеля добыть номер, а тот рассердился:

— Не буду я ничего добывать. Как ты думаешь, где твоя ненаглядная Ника? Да в тюрьме она, в тюрьме! Ты видела, как она одевается? Откуда, спрашивается, из каких доходов? Тебе такие шмотки и не снились. Она уже связывалась с уголовниками, она с кем угодно может связаться! — Фортель закурил, сломав несколько спичек, и постепенно успокаиваясь, добавил: — Если бы мне в страшном сне привиделось, что вы будете такие... шерочка с машерочкой, я бы вас не знакомил.

На другой день он все же позвонил, продиктовал номер.

Трубку сняла Никина мама, сказала, что Настеньки, то есть Ники, нет — и неизвестно, когда будет. Женщина кашляла, ее было очень жаль. Маша спросила, может ли она чем-то помочь? Нет, помощь не нужна. Маша звонила еще несколько раз, пока не узнала, что Ника вышла замуж и уехала в Швецию. Или Швейцарию. Или Шотландию — мама никак не могла вспомнить, куда. Больше Маша не звонила, а потом и их семья уехала совсем в другую страну.

Маша живет в Новой Англии в старинном доме, похожем на пряничный домик. Жилые этажи деревянные, в подвале стены из больших валунов и земляной пол. Верхний этаж пустует — сыновья разъехались по колледжам. Через несколько лет дети захотели увидеть город, где родились; решили съездить всей семьей. Перед отъездом Маша спустилась в подвал, достала коробку с надписью «давние бумаги», нашла старый блокнот и взяла его с собой.

Город изменился, да и страна была совсем не той, откуда они уехали двадцать лет назад. Жили у Яшиного приятеля в чересчур роскошной, как на Машин вкус, квартире: затейливый ампир пополам с современным. В субботу мужчины укатили на рыбалку с ночевкой, Маша осталась одна. Встала поздно, сварила кофе, пила, поглядывала на часы в гостиной. Ровно в десять открыла блокнот и набрала телефон Ники, без всякой надежды застать ее по старому номеру. Услыхав знакомое «Алле-у-у?», смешалась: что сказать? Ника сразу узнала голос, будто все это время ждала звонка. Через полчаса во двор, распугивая кошек, влетел белый автомобиль.

Ника стала тощей и угловатой, даже походка изменились — или так казалось из-за узкой юбки и высоких каблуков? Черты лица стали четче, ушла округлость щек, но голос, медленный низкий голос, был все тот же:

— Машка... С ума сойти — моя Машка! А помнишь, ты была тоненькой, как вон то деревце?

Маша оглянулась на молодой клен. Нет, тут Ника погорячилась, люди такими не бывают.

Они поехали в стеклянно-мраморный офис знакомиться с последним Никиным мужем, потом куда-то за город в ресторан.

— Как мама? Кашляет? — спросила Маша.

— Нет. Не кашляет. Умерла давно, но знаешь... меня не бросила. Через что я прошла... нет, ты не поймешь... Она все время со мной, смотрит сверху и помогает, оберегает меня оттуда, — и Ника показала пальцем на люстру.

Маша вежливо кивнула. Она никогда не верила в такие вещи.

— Фортель умер, — сказала Маша.

— Да? Жалко.

— Помнишь его стихи? Юность кончается, юность кончается, юность в саду на скамейке качается...

— Он писал стихи? А я и не знала... — спокойно сказала Ника.

Странная это была встреча, не так Маша ее себе воображала. Они говорили, но не как прежде, совсем иначе, между ними стояло что-то невидимое, какая-то стеклянная стена. Хотелось о многом спросить, но это было невозможно. Маша чувствовала: они говорят как чужие, Нику это тоже мучает, но поделаться ничего было нельзя.

Поздним вечером возвращались в город. Ехали слишком быстро, такая здесь манера вождения. По радио пела Эдит Пиаф:

*История забывается,
А помнится только мелодия,
Песенка на три такта...
На три такта...*

— Помнишь наш вальс ля-минор? — спросила Маша.

Ника не отвечала, смотрела прямо перед собой. Спидометр показал такую скорость, что Маша пожалела: не стоило упоминать тот вальс. Наконец Ника сказала:

— Ты так ничего и не поняла... Ты так и не поняла, кем ты была для меня тогда.

Маша почувствовала — остро, до слез, — что стеклянная стена пропала. Вот сейчас, в эту минуту, все стало как прежде, они больше не были чужими. Маша выговорила осторожно:

— Почему ты исчезла тогда?

— Я не хотела, чтобы ты меня прогнала. Так бы и случилось, рано или поздно. Нашлись бы доброхоты, рассказали бы. Из-за меня погиб мальчик, девятиклассник. Был суд...

— Я знала. Еще до того, как мы познакомились.

Завизжали тормоза, дернул плечо ремень, машину развернуло поперек дороги. Ника, все так же глядя перед собой, сказала:

— И ты... ты водилась со мной? Пускала меня в дом? К своему ребенку?

Перегнулась через Машины колени, открыла дверь:

— Вылезай! И чтоб я тебя больше не видела.

Трава обочины оказалась мокрой. Автомобиль взвизгнул шинами, развернулся через двойную полосу, его красные огни скоро пропали.

Среди деревьев темного леса что-то вздыхало, метались неясные формы, светились чьи-то глаза. Маша постояла немного и пошла вдоль шоссе. Ловить попут-

ку не стала, боялась ввязаться в историю, не зная нынешних здешних обычаев. Пряталась от машин за кустами, а где не было кустов, ложилась в траву. Нелепо, конечно, но в тот момент казалось логичным. В недолгом свете фар старалась запомнить местность, чтобы потом идти в темноте. Угодила в канаву, вымазала руки какой-то липкой дрянью.

На рассвете добрела до милицейского поста, мальчишка-лейтенант поймал для нее попутку. Когда выходила возле дома, пошатнулась и чуть не упала, водитель, наверное, подумал: во бабонька напилась. А она просто устала.

Сбросила мокрые, облепленные грязью туфли, пошла в ванную. От мыла саднило руки. На щеках и на лбу царапины, засохшая кровь — она не помнила, где так ободралась. Умылась, села на край ванны, прочла напечатанную на шторе таблицу Менделеева — всю, до самого лоуренсия. Вернулась в комнату, постояла у кровати. Подумала: у нас когда-то был такой же клетчатый плед, кому мы отдали его, когда уезжали?

Старый блокнот был открыт на букве «н». Маша взяла со стола жирный черный фломастер, поднесла к имени Ники, но рука остановилась. Вымарать имя, зачеркнуть черным было нельзя, будто Нике это могло повредить. Какая чепуха: Маша никогда не верила в такие вещи. Но вычеркнуть все же не смогла.

В самолете над Атлантикой Маше приснился сон. Железнодорожный мост, она несет туфли в руках, ей нравится чувствовать босыми ступнями, как вибрируют ржавые ребра моста. Раскисшее поле, химический завод, стеклянная комната, полная веселых людей. Маша спрашивает, нет ли работы для мужа: он инженер и творческий человек. Старуха с белой прической волнами, как у Мерлин Монро, отвечает:

— Да-да, нам нужен инженер, и непременно творческий.

— У Яши тринадцать патентов, — говорит Маша, помня число даже во сне. И спрашивает, нет ли работы для нее. Люди в комнате радостно переглядываются. Приходит директор завода, лицо у него замазано гримом, как у клоуна, только не белым, а желтым. И губы не нарисованы, вместо губ — щель.

— Откуда вы такая? — спрашивает директор.

— Из бархатной коробочки, — отвечает Маша словами давно умершего Фортеля.

Директор улыбается — он все понял.

Проснулась Маша от того, что мужской голос медленно и вятно произнес над ухом: «Ну? Разве в прошлое летают самолетом?» Открыла глаза, хотела рассказать сон Яше, но тот самозабвенно спал, задрав бороду. Маша стала вспоминать, не было ли среди людей в той стеклянной комнате Фортеля. Нет, не было; а жаль. Или был, но она его не заметила?

Потом она стала думать о Нике — и вдруг поняла, что загадки больше нет. Не то чтобы нашёлся ответ — просто исчезла загадка. Фортель, когда-то увлекавший-

ся восточными учениями, рассказывал: есть такой способ решения проблем — не искать ответ, а выходить в другую область, где нет вопроса. Тогда Маша его не поняла, а теперь увидела: да, так бывает.

Дома она положила блокнот на столик в прихожей и несколько раз открывала, но не решалась набрать номер. Позвонить и сказать, что не обижается и все понимает? Что когда-то позволила Нике сотворить кумира, но божок оказался из той же глины, что и все люди, и за это Ника разбила его? Нет, такое не скажешь. Прошло несколько месяцев. Маша поняла, что уже не позвонит, спустилась в подвал и спрятала блокнот в коробку, помеченную «давние бумаги».

Ту весну в Новой Англии помнят до сих пор. Долго не таял снег, потом две недели шел дождь, грунтовые воды поднялись и залили подвалы. Маша с Яшей черпали воду ведрами, сын привез помпу, но это было все равно, что вычерпывать родник. В подвале стояло озеро, на каменных стенах волновались блики. Люди бродили по колено в ледяной прозрачной воде, вещи плавали, медленно кружили, ускользали.

Маша брала за корешки тетради в клеенчатых обложках — многолетние записи о детях, о жизни в двух странах, той и этой; держала в руках тяжелые от воды пачки писем — и подсиненные чернилами струи вытекали из них, блестели в свете фонаря, истончались, как стеклянные витые сосульки. Пропали письма, дневники и блокноты: бумага размокла, чернила смыло, прочесть ничего стало нельзя. Вода простояла в подвале три дня — чистая, холодная — и ушла, как пришла, сквозь земляной пол.